

**Когда  
Нина  
знала**



**Давид Гроссман**

**Когда  
Нина знала**



**Москва  
2022**

УДК 821.411.16-31  
ББК 84(5Изр)-44  
Г88

David Grossman  
WHEN NINA KNEW (LIFE PLAYS WITH ME)

Copyright © David Grossman, 2019  
This edition published by arrangement with The Deborah Harris  
Agency and Synopsis Literary Agency

Перевод с иврита *Галины Сегаль*

В оформлении переплета  
использована иллюстрация *Марины Мовшиной*

**Гроссман, Давид.**  
Г88 Когда Нина знала / Давид Гроссман ; [перевод с  
иврита Г. Сегаль]. — Москва : Эксмо, 2022. — 320 с.

ISBN 978-5-04-160274-1

Вера. Нина. Гили. Три поколения женщин, которые  
связаны общей болью.

Они собираются вместе впервые за долгие годы, чтобы  
отпраздновать девяностолетие Веры. Ее внучка Гили решает  
снять фильм о бабушке, и семья отправляется в Хорватию, на  
бывший тюремный остров Голи-Оток.

Именно там впервые Вера рассказывает всю историю  
своей жизни.

Много лет назад она сделала трудный выбор, за которым  
последовало заключение в тюрьму. Вера знала, на что идет,  
как знала и то, что ее шестилетняя дочь Нина останется одна.

Почему она так поступила?

Есть ли этому оправдание?

И, наконец, как этот выбор изменил жизнь всей семьи?

УДК 821.411.16-31  
ББК 84(5Изр)-44

ISBN 978-5-04-160274-1

© Сегаль Г., перевод на русский язык, 2022  
© Оформление. ООО «Издательство  
«Эксмо», 2022

Рафаэлю было пятнадцать, когда мать умерла, избавив его от собственных страданий. Шел дождь, поливая кибуцников<sup>1</sup>, сгрудившихся под зонтиками на маленьком кладбище. Тувия, отец Рафаэля, убивался и плакал. Он много лет преданно ухаживал за женой и теперь стоял, потерянный и осиротевший. Рафаэль, одетый в шорты, держался особняком, глаза и голову прятал под капюшон, чтобы не заглядывали в его сухие глаза. «Теперь, когда она умерла, — думал он, — пусть видит все, что я про нее думаю».

Это случилось зимой 1962 года. Через год его отец повстречал Веру Новак, приехавшую в Израиль из Югославии, и они стали парой. Вера приехала в Израиль с единственной дочкой Ниной, семнадцатилетней девчонкой, высокой и белокурой, удлиненное лицо которой, очень бледное и красивое, было лишено всякого выражения.

Мальчишки из класса Рафаэля прозвали Нину Сфинксом; им нравилось подкрадываться к ней сзади и дразнить именно в те моменты, когда она сидела, обхватив себя руками и уставившись в одну точку. Пока

---

<sup>1</sup> К и б у ц — сельскохозяйственная коммуна в Израиле, характеризующаяся общностью имущества и равенством в труде и потреблении. Кибуцники — члены этой коммуны.

однажды девочка один раз не схватила двух задир, которые ее изображали, и не расквасила им физиономию. Таких тумачков в кибуце еще не видавали. Трудно поверить, сколько силы и ярости вдруг выявилось в ее тонких руках и ногах. Поползли слухи. Говорили, что, когда ее мать сослали в ГУЛАГ, Нина еще девчушкой оказалась на улице. Произнося слова «на улице», люди сопровождали их многозначительными взглядами. Говорили, что в Белграде она связалась с бандитской шайкой, похищала детей, чтобы получать за них выкуп. Говорили... Люди охочи до разговоров. Ни рассказы про это избиение, ни другие сплетни и слухи не пробивались сквозь туман, в котором Рафаэль жил после маминой смерти. Долгие месяцы он пребывал в каком-то внутреннем забвении. Два раза в день, утром и вечером, глотал по таблетке сильного снотворного, которое брал из маминой аптечки. И Нину, когда случайно сталкивался с ней в кибуце, даже не замечал.

Но как-то вечером, примерно через полгода после маминой смерти, он, срезая путь, шел к спортзалу через плантацию авокадо, и навстречу ему шла Нина. Шла с опущенной головой, обхватив себя руками, будто на улице сильная стужа. И Рафаэль вдруг обмер, внутри все взмыло, как струна, почему — он и сам не знал. Нина была погружена в себя, его не замечала. Он увидел ее шаг. Первое — это шаг. Легкий, сдержанный. Высокий и ясный лоб. И платье, голубое, простое и легкое, развевающееся где-то чуть выше колен.

С каким выражением на лице он это рассказывал...

Только когда она подошла совсем близко, Рафаэль увидел, что девочка плачет тихими, придушенными слезами. И тут и она его заметила и остановилась. И вся съежилась. На пару секунд их взгляды пересеклись, и можно сказать, что, увы, до дня последнего. «Небо, земля,

деревья, — сказал мне Рафаэль. — Не знаю... Я почувствовал, будто вся природа вдруг изменилась».

Нина первая пришла в себя. Она сердито фыркнула и быстро удалилась. Он еще успел окинуть взглядом ее лицо, которое тут же утратило всякое выражение, и что-то в нем всколыхнулось. Рафаэль протянул руку ей вслед — ну прямо вижу его там, как он стоит, вытянув руку.

И так вот и застыл с протянутой рукой на сорок пять лет.

Но тогда, на той плантации авокадо, еще не подумав и не заколебавшись, и не запутавшись в собственных комплексах, он вскочил и кинулся вслед за ней, чтобы сказать ей, что все понял, как только ее увидел. «Все пробудилось к жизни», — сказал он мне. Я попросила объяснить. Он как-то смешался, забормотал, как все в нем угасло за годы материнской болезни и еще сильнее после ее смерти. А тут все внезапно стало неотложным и судьбоносным и возникла уверенность, что и она ответит тем же.

Нина услышала, что его шаги преследуют ее, остановилась, развернулась и оглядела его медленным взглядом. «Чего надо?» — внезапно пролаяла она ему в лицо. Рафаэль отпрянул, оторопев от ее красоты и, наверно, от ее грубости — в основном, боюсь, от смеси красоты с грубостью. В нем и по сей день это есть: слабость к женщинам, у которых имеется капелька, шепотка мужицкой наглости, даже хамства, этакая перчинка. Рафаэль, Рафи...

Нина встала, уперев руки в бока, из нее «выпрыгнула» жесткая уличная девчонка, дикий зверек. Раздвув ноздри, она его обнюхала, и Рафаэль увидел жилку, пульсирующую на ее шее, и вдруг ощутил боль в губах — так он мне рассказал — прямо жжение и жажду.

«Ясно, поняли, — подумала я, — ты не обязан излагать все подробности».

На щеках у Нины еще блестели слезы, но глаза холодные, почти змеиные. «Катись отсюда, козел!» — сказала она, и он потряс головой, мол, ни за что, и Нина медленно приблизила к его голове свой лоб, приблизила и отодвинула, будто в поисках верной точки, а он зажмурился, она ударила со всей дури, и Рафаэль отлетел назад и свалился в дупло дерева авокадо.

«Сорт Эттингер», — поспешил он уточнить, чтобы я, не приведи господь, не забыла, как важен каждый штрих этой сцены, ибо именно так и строятся мифы.

Ошарашенный, он влетел в дупло, потрогал вздувающуюся на лбу шишку, встал на ноги, и все вокруг закружилось. С тех пор как умерла мама, Рафаэль ни к кому не прикасался и никто не прикасался к нему, кроме тех, с кем случалось драться. Но тут было что-то другое, так он это ощущал, она пришла, чтобы наконец-то вскрыть ему мозг, выволить его из страданий. И, ослепнув от боли, он выкрикнул ей то, что ему открылось только что, в тот миг, как ее увидел, и он сам был потрясен, когда изо рта полилась грязь, срамота. «Язык отморозков, — сказал он мне, — хочу тебя трахнуть, типа этого. Но в какие-то полсекунды я по ее лицу увидел, что, несмотря на всю эту мерзость, она меня поняла».

Может, все так и было, откуда мне знать, почему бы не подобрать к ней и не подумать, что девчужка, родившаяся в Югославии и несколько лет (как это выяснилось позже) мотавшаяся брошенным ребенком, без папы и без мамы, что эта девчужка, несмотря на подобное вступление, а может, именно из-за него, и правда на секунду прониклась состраданием к этому мальчишке из израильского кибуца, мальчишке зам-

кнутому — таким я себе представляю его в шестнадцать лет — одинокому, с башкой, полной тайн, и фантазий и стремлений к подвигам, о которых никто на свете не знает. Мальчишке печальному и мрачному, но красивому, хоть плачь.

Рафаэль, мой отец.

Есть известный фильм, не вспомню сейчас, как он называется (не стоит тратить время на «Гугл»), в котором герой возвращается в прошлое, чтобы что-то в нем исправить или предотвратить какую-то мировую войну или что-то еще. Вот и я, все бы я отдала за возвращение в прошлое, но только для того, чтобы не дать встретиться этой парочке!

Все дни, а главным образом ночи, что последовали дальше, он будет грызть себя за то, что проморгал этот дивный миг. Он перестал глотать мамино снотворное, чтобы не затмевало яркость любви. В кибуце он искал ее повсюду и не находил. В те дни Рафаэль почти ни с кем не общался и потому не знал, что Нина ушла из квартала холостяков, в котором проживала вместе с матерью, и раздобыла себе комнатуху в старом заброшенном строении времен отцов-основателей кибуца. Строение это было чем-то вроде поезда с крошечными отсеками, и стояло оно за фруктовыми плантациями, в том месте, которое кибуцники с присущим им великодушием называли «Лепрозори-ем». Там жила небольшая группа мужчин и женщин, в большинстве своем волонтеры из-за границы, которые, не найдя себе применения, так здесь и застряли, и никто не знал, что с ними делать.

Тем временем страсть, родившаяся у него в тот час, когда Нина встретила его на плантации авокадо, ничуть не растеряла своего огня, напротив, с каждым

днем она все сильнее распалая его душу. «Если Нина согласится хоть раз со мной переспать, ее мимика точно к ней вернется», — абсолютно серьезно думал он.

Про эту свою идею он рассказал мне во время разговора, который мы засняли тысячу лет назад, когда ему было тридцать семь. Это был мой дебютный фильм, и утром, через двадцать четыре года после того, как он был заснят, мы с Рафаэлем в приступе внезапной ностальгии решили его посмотреть. В этом месте фильма мы видим, как он кашляет, чуть не задыхается, скребет свою растрепанную бороду, снимает, надевает и снова снимает кожаный ремешок часов и — что главное — не поднимает глаз на свою молодую интервьюершу, то есть на меня.

«Знаешь, а у тебя в шестнадцать лет было полно самоуверенности!» — слышу я, как говорю в картине льстивым голосом. «Это у меня-то? — удивляется Рафаэль в картине. — Самоуверенности? Да я был как листок на ветру». — «А я вот как раз считаю, — отвечает интервьюерша дико фальшивым голосом, — что это самое оригинальное признание в любви, какое я только слышала».

Когда я брала у него это интервью, мне было пятнадцать лет, и сказать по совести, я до того момента не слышала ни единого признания в любви, ни своеобразного, ни банального, из уст кого-то, кто не я-сама-перед-зеркалом в черной беретке и загадочной косынке, скрывающей мне пол-лица.

Видеокассета, маленький штатив, микрофон, прикрытый серой губкой, которая уже и заворсилась. На этой неделе, в октябре 2008 года, их нашла моя бабушка Вера в картонной коробке на своих антресолях вместе со старенькой камерой «Сони», через глазок которой я в те годы познавала мир.

Конечно, назвать эту штуку фильмом — малость преувеличение. Речь идет о нескольких эпизодах, воспоминаниях о юности моего отца, разбросанных и не до конца обработанных. Звук жуткий и изображение нечеткое и зернистое. Но в основном можно понять, что там происходит. На коробке Вера черной тушью написала: «ГИЛИ — ВСЯКОЕ/РАЗНОЕ». У меня нет слов описать, что этот фильм со мной делает, как мое сердце выпрыгивает при виде той девчушки, какой была я, девчушки, которая выглядит здесь, в фильме (не преувеличиваю), человеческим вариантом птицы додо, той, которой, как мы помним, только вымирание не дало умереть от смущения. То есть существом, которое в глубине души еще не решило, что оно такое и чем хочет стать, и перед которым все еще открыто.

Сегодня, через двадцать четыре года после того, как снята эта беседа, я сижу в кибуце возле своего отца в Верином доме, гляжу на них двоих и поражаюсь, до чего же я в этом фильме вся напоказ, даже при том, что я только интервьюерша и меня почти не замечают.

Несколько долгих минут мне никак не сосредоточиться на том, что мой отец рассказывает про себя и про Нину — как они познакомились и как он ее любил. Я сижу рядом с ним, вся сторбившись, скукожившись от мощи внутренних переживаний, которые без всякой фильтрации как вопль рвутся наружу из той девчонки, какой я была. Вижу ужас в ее глазах, потому что все еще так неопределенно, слишком неопределенно; неопределенны даже такие вопросы, как хватит или не хватит ей жизненных сил или насколько в ней возобладает женщина, а насколько — мужчина. А ей уже пятнадцать, и она еще не знает, какое решение в подвалах эволюции будет принято по ее вопросу.

«И вот, — думаю я, — если бы сегодня я смогла на секунду, всего на секунду впорхнуть в ее мир, показать ей себя сегодняшнюю, скажем, себя на работе или себя с Меиром, даже себя ту, что сейчас, в нашей ситуации, я бы ей сказала: да ты не трусь, подруга, в конце концов с некоторым напрягом, с некоторыми компромиссами, с капелькой юмора, с определенной степенью уступок для пользы дела — со всем этим и для тебя тоже найдется место, место, которое только для тебя; и будет у тебя любовь, будет некто, кто станет искать именно такую вот крупную женщину с ароматом птицы додо».

Я хочу вернуться в начало, в инкубатор семьи. Успею, что успею, пока не взлетим на остров. Отец Рафаэля, Тувия Брук, был агрономом, который курировал все сельскохозяйственные угодья от Хайфы до Назарета, а также занимал ответственные посты в кибуце. Был он мужчиной красивым и серьезным, который много делал и мало говорил. Он любил Дуси, свою жену, и в годы ее болезни ухаживал за ней как мог. После ее смерти в кибуце с ним заговорили о Вере, Ниной маме. Тувия колебался. Мешала какая-то ее нездесьность. Всегда, в любой ситуации она красила губы и напяливала сережки. Акцент ее был тяжелым, иврит странным, да и сегодня оно все то же, никто другой не говорит как она, и даже голос ее звучал для уха как-то галутно<sup>1</sup>. Как-то раз, когда они выходили из столовой, один старинный друг из группы югославов положил ей на плечо руку и сказал: «Она стоящая женщина, Тувия. Знай, что по ней такое прокатилось, трудно поверить, и не все еще можно рассказать».

Тувия пригласил ее к себе домой, для знакомства. Чтобы сбавить неловкость этой встречи, Вера привела

---

<sup>1</sup> Галут — еврейская диаспора.

с собой подругу, свою землячку из Хорватии, страстную любительницу фотографии. Обе сидели молча, скрестив ноги. В неудобных креслах, изготовленных из металлических стержней, оплетенных тонкими нейлоновыми шнурами, которые впиваются в попу.

Им потребовалась самодисциплина монахов, идущих впереди колонны, чтобы не расхохотаться, когда Тувия попытался притащить из кухни угощение, заранее приготовленное его сыновьями. Потом в течение тридцати двух хороших, даже счастливых лет совместной жизни Вере нравилось передразнивать эти его первые минуты — как он идет в кухню за миской арахисовых орешков или соленых палочек и продолжает свой рассказ про личинки червей, про моль и про огонь в кострах, и возвращается к ним с пустыми руками, и, виновато улыбаясь с красивой ямочкой на левой щеке, топает обратно в кухню и приносит оттуда баночку с полевыми цветами.

Пока отец Рафаэля совершал этот свой сложный брачный танец, Вера осматривалась вокруг, пытаясь что-то узнать про его умершую жену. На стенах не было никаких фотографий или портретов, не было ни полок с книгами, ни ковров. Абажур на торшере был в дырках от моли (были ли это мотыльки, тянущиеся к лампе, о которых он рассказывал?). Ключки пожелтевшей губки торчали из-под пенистой резиновой обивки дивана. Подруга Веры указала подбородком на сложенное инвалидное кресло и кислородную подушку, запихнутые между стеной и столом. Вера почувствовала, что болезнь, которая годами царила в этом доме, еще не до конца из него выветрилась. Что какая-то ее часть все еще здесь присутствует. Осознание того, что у нее здесь имеется соперница, толкнуло Веру выпрямиться во весь рост, приказать отцу Рафаэля наконец-то при-

сесть и нормально с ними поговорить. Он тотчас хлопнулся на диван, выпрямился и сидел, скрестив на груди руки.

Вера улыбнулась ему из глубины своей женственности, и его позвоночник вдруг как-то оттаял. Подруга внезапно почувствовала, что она здесь лишняя, и поднялась уходить. Они с Верой быстро перекинулись парой слов на сербскохорватском. Вера пожала плечами — жест, означающий, что, мол, «меня это не волнует». Тувия был мужчиной решительным и уверенным в себе, но сейчас, когда напротив него оказалась эта маленькая женщина с зелеными глазами и острым взглядом, ему показалось, что из-под ног уходит земля. Взглядом настолько острым, что раз в несколько минут нужно отвести от нее глаза. Подруга перед тем, как уйти, попросила разрешения сфотографировать их своим «Олимпусом». Оба застеснялись, но она сказала: «Вы так здорово вместе смотрите», — и они взглянули друг на друга и впервые увидели, что могут оказаться парой.

Ради съемки Вера поднялась со своего пыточного кресла и подседа к Тувии, на его узкий диван. На черно-белой фотографии Вера сидит откинувшись назад, опершись на руку, смотрит на него чуть отстраненно и улыбается. Ощущение, что поддразнивает его и тем наслаждается.

Это 1963 год. Начало зимы. Вере — сорок пять. На лоб ниспадает локон, губы полные, сочные. Брови тонкие, нарисованные карандашом, как у Хеди Ламарр.

Тувии — пятьдесят четыре, на нем белая рубашка с широким воротом, шерстяной свитер ручной вязки с толстыми «косичками». У него густая черная шевелюра с прямым пробором. Руки с огромными кулачищами скрещены на груди. Он смущен, и лоб блестит от волнения.

Тувия сидит нога на ногу, и только сейчас я замечаю, что под столом — два деревянных ящика, покрытых белой скатертью, и большой палец Вериной правой ноги в открытой босоножке слегка прикасается к подошве левого ботинка Тувии и будто щекочет ее снизу.

Подруга вышла. Вера с Тувией сидят одни, втиснувшись в диван. Когда он поднял руку почесать затылок, Вера заметила черные волосы, торчащие из рукава его свитера. Густые волосы виднелись и на груди и исчезали на красной полоске от бритья на его шее. Это и отталкивало, и притягивало. У ее первого возлюбленного, у ее единственного Милоша, кожа была гладкая, светлая и от загара на солнце становилась медвяной. Верино тело внезапно вспомнило, как они с Милошем, обнимаясь, лезут друг на друга, как котята. Ей нравилось зарыться в его худое, болезненное тело, впрыснуть в него тепло, силу и здоровье, которых у нее хоть отбавляй, и почувствовать, как то, что она вливает в него, и саму ее наполняет. А сейчас у нее свело живот и вытянулось лицо, и она почти уже встала, собираясь уйти. Тувия, не обративший внимания на произошедшую в ней перемену, поднялся на ноги, встал перед ней и сказал, что у него заседание в секретариате, но он считает, что вопрос решен и можно попробовать. И протянул ей руку, как строительную линейку.

Несмотря на тоску по Милошу, это его неуклюжее предложение заставило ее покатиться со смеху. Тувия стоял перед Верой сконфуженный, пытающийся сжаться, как это всегда с ним случалось. «Ну, так что скажешь, Вера?» — спросил он просящим голосом и снова присел на краешек дивана. Тувия казался абсолютно потерянным и совершенно онемевшим. Вера

все еще колебалась. Он ей понравился, в нем ощущался мужчина, и он показался ей прямым и понятным («Я сразу увидела его потенциал»), а с другой стороны, она не знала о нем почти ничего.

И именно в этот момент, в самый неурочный час, что характерно для почти каждого важнейшего этапа его жизни, в комнату вошел Рафаэль, младший сын Тувии, с фингалом под глазом, разбитым лицом и запекшейся у рта кровью. Снова ввязался в драку, на сей раз в школе, с ребятами старше него. Как и в любой день и в любую погоду, на нем был все тот же капюшон, что и в день маминых похорон. Он открыл решетчатую дверь, увидел смущенного отца, сидящего возле Веры, и застыл. Вера быстро поднялась и пошла к нему, а он предупреждающе зарычал. Она не испугалась. А стояла напротив него и с любопытством его разглядывала. Рафаэль, как и его отец, смутился под ее взглядом: разумеется, он ее уже видел. Несколько раз встречал ее на дорожках кибуца и в столовой, но, как видно, она не произвела на него никакого впечатления. Маленькая женщина, решительная и быстрая, с поджатыми губами. Это примерно все, что он увидел. Ему, конечно, и в голову не пришло, что она — мать Нины, и днем и ночью бередящей его фантазии. «Ты Рафаэль», — с улыбкой сказала Вера, и прозвучало это так, будто ей известно гораздо больше этого. Не спуская с него глаз, Вера послала Тувию в ванную за синим йодом и бинтом. И потом протянула руку к открытому кровью лицу Рафаэля и пальцами коснулась уголков его губ.

Прозвучали резкий вскрик и задушенное ругательство на сербскохорватском. Тувия бегом вернулся из ванной. Рафаэль стоял напуганный, со вкусом чужой крови на губах. Вера попыталась остановить кровь, ка-

пающую с ее пальцев на пол. Тувия, который в жизни пальцем Рафаэля не тронул, вдруг кинулся на него, но Вера, прыгнув, вытянула руки и их развела. И одновременно выкрикнула что-то предупреждающее, хриплое и горловое, почти нечеловеческое. Этот ее жест, этот ужасающий звук, который она издала, заставили Рафаэля ощутить себя где-то в глубине детенышем самки. «Самки, которая борется за свое чадо», — сказал он мне.

И в противоречие со всем, что он к ней испытал, внезапно ему дико захотелось стать шенком этой зверины.

Тувия не был человеком жестоким, и то, что у него вырвалось, его напугало. Снова и снова он смущенно бормотал: «Извини, Рафи, прошу прощения». Вера прислонилась к стене, голова слегка кружилась, не из-за крови, кровь никогда ее не пугала. Она закрыла глаза. Веки задрожали и прикрыли быстрый разговор с Милошем. Почти двенадцать лет прошло с тех пор, как он покончил с собой в подвалах для пыток в Белграде. Она сказала ему, что уходит сейчас к другому мужчине, но с ним и с их любовью она не расстанется никогда.

Она открыла глаза и посмотрела на Рафаэля. И подумала: «До чего он похож на отца, и каким потрясающим мужчиной он станет», — но она увидела и то, что сделало сиротство в таком раннем периоде его жизни. Нина, ее дочка, тоже была сиротой, да такой, что трудно представить. Но надлом, и одиночество, и заброшенность Рафаэля вдруг заставили Веру почувствовать себя матерью, чего с ней раньше не случалось. Эту фразу она повторяла мне не раз в течение многих лет и в самых разных аспектах: «Как это возможно, что

я никогда раньше такого не испытывала?» Раз я преврала ее: «Но ведь у тебя уже была Нина! У тебя была дочь!» Мы тогда шли домой приятной тропинкой, что бежала по полям к кибуцу (шли под руку, она и по сей день любит так со мной прогуливаться, несмотря на разницу в росте), и она со своей жуткой прямолинейностью: «Эта беременность Ниной была у меня вроде как внематочная, а с Рафи все вдруг сложилось».

Рафаэль и Тувия почти перестали дышать под ее взглядом, и это был тот момент, когда она уже не сомневалась, что выйдет за Тувия замуж. И она бы за него вышла — так она говорила не раз, — даже если бы он был урод, и подонок, и барабанщик в борделе — ее личное выражение, одна из вещей, значение которой так до конца и не прояснилось и которым семейство Тувии с удовольствием пользовалось всю дорогу. «Потому что чего сто́ят в такой вот момент все твои красивые идеалы, — рассуждала Вера сама с собой, — чего сто́ят коммунизм и дружба народов, и сияющая красная звезда, и высокий образ Павки Корчагина из книги «Как закалялась сталь», чего сто́ят все войны во имя справедливого и прекрасного мира, в которых ты участвовала?» — «Ни хрена они не сто́ят, — ответила она себе, — если мой сегодняшний долг — этот вот мальчишка».

Минуту-другую каждый из них был погружен в себя. Мне нравится представлять их такими, как они стоят все трое с опущенными головами, будто вникая в то, как некий раствор начинает разливаться внутри них. На самом деле это тот момент, когда создалась моя семья. Это также момент, когда в конечном итоге и сама я начала проклевываться на божий свет.

Тувия Брук был моим дедом. А Вера — она моя бабушка.

Рафаэль, Рафи, Рейш — он, как известно, мой отец, а Нина...

Нина не здесь.

Ее нет, Нины.

Но это всегда было ее особенным вкладом в семью.

А что я?

Тетрадь хорошего качества, 72 листа высокопробной бумаги, не содержащей древесных волокон, и четверть страниц уже заполнены, а мы все еще не представились как положено.

Гили.

Имя, как ни погляди, проблематичное, особенно когда его произносят при команде.

Рафаэль убрался к себе в комнату, маленькую и темную, как нора. Он закрыл дверь и присел на кровать. Эта маленькая женщина его напугала. Никогда он не видел отца таким слабаком. Позади закрытой двери Вера провела Тувию к дивану и дала ему забинтовать два своих укушенных пальца. Ей нравилась белизна собственной руки, лежащей в его лапах. Между ними царило доброе молчание. Тувия закончил бинтовать и закрепил повязку английской булавкой. Он приблизил лицо к ее пальцам, откусил зубами непослушную нитку, и от этой его мужиковатости сердце ее растаяло. Он спросил, больно ли ей. Вера пробормотала: «Так мне и надо». Они тихо поговорили. Тувия сказал: «У мальчишки это с тех пор, как умерла его мать. Вообще-то с тех пор, как она заболела». Вера положила ладонь перевязанной руки ему на ладонь. «У меня есть Нина, а у тебя — Рафаэль». Этот тихий разговор их сблизил. Она сдержалась, не дала своим пальцам погладить его шевелюру.

«Ну, так что скажешь, Вера, может, мы...»

«Сойдемся. Попробуем, почему бы и нет?»

Пять дней назад мы отпраздновали Верино девяностолетие (плюс два месяца. В сам день рождения у нее была пневмония, и мы решили с этим повременить). Празднование семья устроила в клубе кибуца. «Семья» — это, разумеется, родственники Тувии, к которым Вера всего лишь примкнула, но за сорок пять лет стала их душой. Всегда забавно думать, что большинство внуков и правнуков, которые лезут к ней обниматься и дерутся за ее внимание, даже не подозревают, что она им вовсе не биологическая бабушка. Каждому нашему ребенку мы устраиваем скромный обряд посвящения, на котором сюрпризом, обычно в день его десятилетия, ему открывают правду. И тогда — всегда и без исключения — он или она задает один-два вопроса, на лоб набегают морщинки, чуть прищуриваются глаза, а потом — отрицательный взмах головой и быстрое передергивание плечами, будто отбрасывающее новую досадную информацию.

Вот пожалуйста, дочка дедушки Тувии, старшая сестра моего отца, произнесла маленькую речь: «После того, что они тридцать два года прожили вместе, я совершенно искренне считаю, что Вера не только неотъемлемая и постоянная часть нашей семьи, но и что без Веры мы бы вообще не были той семьей, каковой являемся». Сказала, как всегда, скромно и просто, и Рафаэль был не единственный, кто смахнул слезу. Вера скривила рот — есть у нее такая ироническая гримаса на то, что показалось слишком приторным, — и Рафаэль, который фотографировал, как и на всех семейных торжествах, шепнул мне уголком рта: «До чего же Верина оценка или похвала всегда характерны для нее одной».

Как только началось торжество, она сообщила, что в такой день у нее у одной есть право осыпать саму

себя комплиментами, а потому можно сразу приступить к застолью. Но тут уж семья встала на дыбы. Представители всех поколений и всех возрастов вставали и высказывали ей похвалы — дело необычное, потому что на самом деле Бруки не говоруны и им редко приходит в голову так вот рассказывать кому-то столь интимные вещи, да еще и прилюдно. Но вот сказать их Вере им захотелось. Почти у каждого в этой комнате был рассказ о том, как Вера ему помогла, за ним поухаживала, спасла его от чего-то плохого или от самого себя. Мой рассказ был самым сенсационным. Он касался некоего злодеяния, причиненного моей душе, когда мне было двадцать три года, удара, нанесенного мне неким человеком, да исчезнет имя его из всех моих воспоминаний. Но и мне самой, и Вере было ясно, что все, что следует рассказать, я, по обыкновению, поведаю ей наедине, как говорится, с глазу на глаз. Особенно трогательным был момент, когда Том, внук Эстер, которому было два с половиной, обкакался и, как бы демонстрируя свою независимость, ни за что не согласился на то, чтобы подгузник ему поменяла мать или бабушка Эстер, и когда та спросила, кого же он выбирает для этой цели, он радостно завопил: «Тáту Веру!» Чем вызвал взрыв смеха.

Вера с потрясающей ловкостью спрыгнула со своего кресла, побежала, почти как девчонка, только что тело слегка скривлено в левый бок, и поменяла в сторонке Тому подгузник, и, пока это делала, подала нам знак, чтобы продолжали толкать речи и «раз уж решили, так ради бога...» А тем временем она вся была сосредоточена на улыбающемся личике Тома, и ворковала ему в пупок что-то на сербскохорватском с венгерским акцентом, и, конечно же, прислушивалась к словам, которые у нее за спиной о ней говорились. И когда, не-

смотря на свои девяносто лет, она помахала в воздухе переодетым Томом, который хохотал и пытался стянуть с нее очки, я вдруг почувствовала, как глубоко внутри будто кто-то меня куснул. Боль из-за того, что никогда в жизни я такой не стану и этого не сделаю, и как не хватает мне моего мужчины, Меира... И подумала, что нужно было попросить его прийти со мной, ведь знала же заранее, какой незащищенной и уязвимой буду здесь, с Ниной.

За сорок пять лет до этого, зимой 1963 года, в тот вечер, когда Вера и его отец Тувия собирались стать парой, Рафаэль пошел в спортзал кибуца. Позади этого зала распростерлось пустое песчаное поле, и в последний год, с тех пор, как умерла мама, он упражнялся там в метании ядра. Солнце село, но в небе еще разлит слабый свет, и в воздухе уже замелькали стеклышки дождя. Раз за разом, десятки раз метал Рафаэль ядра весом в три-четыре килограмма. Ярость и ненависть потрясающе улучшили его достижения. Когда он почувствовал, что замерз, и уже захотел вернуться в комнату интерната, зарыться головой в подушку и не думать про то, что отец его будет делать ночью, а то и прямо сейчас, с этой своей югославской шлюхой, перед ним возникла Вера. Она шла с коричневым чемоданом, огромным, почти с нее ростом. Поставив этот свой обшитый кожаными ремешками и металлическими гвоздиками чемодан в грязь (классная штукавина, на которую я давно положила глаз) и вытянув вперед руки, она встала перед Рафаэлем, будто отдавая ему себя на суд. Что ему оставалось делать! Не глядя на нее, он продолжил метать ядра. За те две недели, что он ее встретил и укусил, Рафаэль успел узнать, что Вера — мать той девчонки, в которую он влюблен. Этот факт

был столь ужасен, что он изо всех сил старался о нем не думать, но сейчас Вера стояла перед ним как живое напоминание.

Дождь стал для нее неожиданностью. На ней был тонкий свитерок баклажанового цвета с закругленным белым воротничком с рюшками, а на ногах — белые туфли, которые уже покрылись грязью. Маленькая фиолетовая шляпка была надета набекрень — факт, разозливший Рафаэля не меньше, чем сама шляпка. Были на ней также тоненькое золотое ожерелье и жемчужные сережки — вещи, которые нацепляют на себя только горожанки.

Господи, сейчас, когда я это пишу, до меня вдруг дошло: это же был Верин свадебный наряд.

И это была ее брачная ночь.

Со своим тяжелым венгерским акцентом — дома в Хорватии они говорили в основном на венгерском — она спросила: «Рафаэль, можешь минутку со мной поговорить?», а он надвинул на глаза свой капюшон, повернулся к ней спиной и метнул в темноту еще одно ядро. Вера с минуту поколебалась, а потом шагнула вперед, подняла ядро и взвесила его в руке. Рафаэль застыл в середине броска и будто забыл, что делать дальше. Без всякой подготовки, без вращения вокруг собственной оси, Вера одним глубоким толчком швырнула железное ядро на невероятное расстояние, может, на метр дальше, чем он.

Рафаэль был парнишка худой, но сильный, один из самых сильных среди сверстников. Он поднял другое ядро, поместил его во впадину плеча, закрыл глаза и, не торопясь, вложил в него все отвращение, которое к ней испытывал.

Почему-то этого ему не хватило, и он продолжал себя заводить да еще и вкладывать в ядро ненависть

к отцу, который собирался предать маму с этой чужачкой, которая к тому же и мать Нины. Даже и эта мысль не смогла заставить толкнуть ядро, и он продолжал вращаться вокруг собственной оси, пока вдруг внутрь не прорвалась еще и мутная струя ярости на мать, именно на нее, на то, что, когда он был еще пятилетним малышом, она вдруг начала отдаляться и уходить в свою болезнь.

Темнота сгустилась, дождь полил сильнее. Вера быстро потеряла руки то ли от холода, то ли от радости состязания, которая ее распалила. Рафаэль продемонстрировал мне это в картине, которую я снимала. Эту черту я в ней знала и не любила. Она, кстати, и по сей день такова: в минуты конфликтов или споров, обычно связанных с политикой, в ней вдруг пробуждается что-то железное, несгибаемое — где-то внутри, в глазах, даже в коже. Если, допустим, в ней зародилось подозрение, что кто-то из семьи или из кибуца согласен с каким-то аргументом правых или осмелился проронить доброе слово о поселенцах<sup>1</sup>, тут, не приведи господь, «жди урагана» — это светопреставление, громы, молнии и дым коромыслом. Даже и мальчишкой Рафаэль это сразу чувствовал, говорил, что это «не материнское поведение», хотя что такое «материнское поведение», точно и не знал. Когда Вера вторглась в его жизнь, он был полным незнайкой по части всего, что связано с материнством. Она очень быстро сняла с себя ожерелье, браслеты и серьги, положила все это рядышком на чемодан и прикрыла своей дурацкой шляпкой. Когда все легло на место, она легкими движениями закатала рукава своего свитера и блузки, и тут Рафа-

---

<sup>1</sup> П о с е л е н ц ы — жители израильских поселений на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

эль увидел мышцы ее рук и переплетения ее сухожилий. Он глядел на них, открыв рот: как она с такими-то мышцами собирается стать чьей-то мамой? Мир вокруг уже потемнел. С горы Кармель прокатился гром. Вера с Рафаэлем едва различали ядра, которые они метали. Лишь их черный металлический бок на мгновение взблескивал в свете фонаря, что над тропой, а то под мигание далекой молнии. Ядра падали все ближе к их ногам, и когда они поднимали их из грязи, у них почти уже и не было сил метнуть их снова. Но они продолжали, продолжали оба, метали, стонали и вставали задохнувшись, прижав руку к боку. Каждые несколько минут молча шли рядом на поиски ядер, что валялись в лужах, как откормленные головастики.

За минуту до того, как Рафаэль признался, что нет у него больше сил, она положила свое ядро на землю, возвела вверх руки и пошла к чемодану. У него было ощущение, что проиграла она ему специально, и это ему понравилось. Поступок матери («Ты должна понять, Гили, в то время я делил все человечество — смейся-смейся, и мужчин тоже — на две половины: кто мать и кто не мать»). Вера встала к нему спиной, быстро надела свои браслеты и серьги, напялила свою фиолетовую шляпку и сдвинула ее набекрень, что пробудило в Рафаэле желание сорвать ее с головы, кинуть в лужу и попрыгать на ней обеими ногами. Потом она к нему обернулась. Тело ее тряслось от стужи, губы синие, но взгляд твердый.

«Выслушай меня. Я пришла сюда, чтобы с тобой поговорить перед тем, как войду к вам в дом. Мне важно, чтобы ты знал. Я не хочу быть твоей мамой ни в коем разе, я просто хочу тебя любить». Иврит у нее был сносный — еще в Югославии, когда ждала разрешения на выезд в Израиль, учила иврит вместе с Ниной у

одной еврейской журналистки, — но из-за акцента ему показалось, что она говорит: «Просто хочу тебя убить».

«Ты в жизни не сможешь стать мне мамой, — прошептал Рафаэль про себя, — в жизни не сумеешь жить, как моя мама». В последние годы своей болезни его мать лежала за дверью спальни, и он почти ее не видел. Иногда, когда она звала его из своей комнаты басом, который у нее появился, он выскакивал из окна своей комнаты и убегал. Ему было невыносимо ее лицо, распухшее, как надувной шар, как карикатура красивой и изящной мамы, которая у него была, невыносима эта кислая вонь, которая от нее исходила, заполняла весь дом и липла к его одежкам и к его душе. Когда он был маленьким, пятилетним или шестилетним, бывали ночи, когда его отец Тувия относил его на руках в мамину кровать, чтобы она посмотрела на сына и прикоснулась к нему. А когда наутро Рафаэль просыпался, по запаху пижамы всегда зная, что ночью его относили к маме, он требовал, иногда в истерике, чтобы пижаму немедленно бросили в стирку.

Вера сказала Рафаэлю: «Никто в мире не может стать тебе мамой, и это твой дом, а я в нем всего лишь гостя. Но я обещаю to do my best, и если ты меня не захочешь, тебе стоит сказать одно слово, и я в ту же минуту заберу свои вещи и уйду».

Минута? Пять минут? Сколько времени простояли они так под дождем? Тут есть разные версии. Вера клянется — включая церемониал: сухой плевок в сторону, когда верхняя губа прикрывает губу нижнюю, — что это длилось не меньше десяти минут. Рафаэль, не вдаваясь в тонкости, утверждает, что не больше полминуты, а я, как всегда, склонна поверить *ему*.

В моем старом фильме, который сейчас перед нами на Верином экране, звучит мой голос, цитирующий

Рафаэлю нечто, что когда-то я услышала от его отца Тувии, моего дедушки-агронома: «Есть семена, которым для прорастания хватит лишь зернышка почвы», фраза, так сильно впечатлившая меня в мои пятнадцать лет. Десять минут или полминуты — Вера тогда сильно схватила его за руки, и он свои не отдернул. У нее все еще было забинтовано то место, которое он укусил, но она своими миниатюрными большими пальцами все гладила и гладила его пальцы и ждала, когда Рафаэль перестанет плакать. Оказалось, что одного зернышка почвы может хватить и на двоих, если они в полном отчаянии.

Потом Вера своим приказным бен-гурионовским тоном сказала: «Рафаэль! Пошли!» Нести свой чемодан она ему не дала. Они молча двинулись в комнату Тувии. Когда-нибудь, когда я начну снимать свои фильмы (в скором будущем, иншаллах), я непременно воссоздам сцену этой прогулки под дождем, хлеставшим по диагонали в желтых лучах фонарей. По пути им не встретилось ни души. Все кибуцники сидели по домам, шли одни они, вымокшие, расчувствовавшиеся, без слов принявшие этот свой договор, ставший для них незыблемым, договор, который продержался сорок пять лет и ни разу не был нарушен.

Они вошли в квартиру — «комнаты», как покибуцному, — Вера поставила свой чемодан перед дверью. Они услышали, как его отец напевает арию из «Похищения из сераля», арию, которую он всегда пел, когда был в хорошем настроении. Вера посмотрела на Рафаэля. «Придешь в тихий час?» Он стоял с опущенной головой и страдал. Она двумя своими перевязанными пальцами приподняла ему подбородок. Ни одному человеку в мире не пришлось бы в голову такое

с Рафаэлем проделать. «Такова она, дорога жизни, Рафаэль!» — сказала она. Ему казалось, что после этой ночи он не сможет смотреть папе в глаза, да и Вера тоже. «Доброй ночи», — сказала она. И он шепотом повторил это за ней.

Вера подождала, пока он не исчезнет за поворотом тропы. Потом вытащила из чемодана маленькую сумочку и с помощью круглого зеркальца и косметического карандаша привела в порядок свое лицо. Рафаэль подглядывал за ней из-за куста бугенвилеи, видел, как она безуспешно пытается распушить мокрые волосы (волосы у нее всегда были жидкие), и глаза его малость забраковали ее физическую и душевную силу; потом она подняла лицо к небу и зашевелила губами. Он решил, что она молится, но потом сообразил, что Вера разговаривает с кем-то исчезнувшим, объясняет ему, слушает его, посылает поцелуй небесам... В глазах Рафаэля она была «вроде женщины, каких показывают в кино», но в отличие от кино она была прагматична, решительна, нетерпелива и, как и говорила про себя, «не терпела вредных и злых».

Вера задрала нос, подбородок, выпрямилась во весь свой маленький рост. Рафаэль заставлял себя думать про свою скромную, тихую маму, но она поблекла, отказалась ему являться. Вера один раз стукнула сжатым кулаком в дверь дома. Отец перестал петь. Рафаэль знал, что вот он, тот последний миг, когда он еще может что-то сделать. Он лихорадочно искал в себе свою маму, чтобы знала: он хоть в этот момент ей верен или почти верен, чтобы простила его, чтобы он уже смог отказаться от наказаний и постов, которые из-за нее на себя накладывал. Она не послала ему никакого знака, никакого ответа. Их отсутствие испугало, будто стерли часть его души. И тогда он понял, что прощения

мама лишила его навсегда. «Как знак Каина», — сказал Рафаэль моей камере, и голос его задрожал. Я, как известно, была всего лишь пятнадцатилетней, но уже тогда начинала что-то понимать о семье, об упущениях и о вещах, которых задним числом не исправишь. Главное, чего мне хотелось, — это перестать снимать, подойти, обнять и утешить его, и, конечно же, я не решилась. Он бы мне не простил, если бы я изъяла такую плетку, как фильм.

Дождь мягко падал на землю. Лампа в виде кувшина, что висела над дверью, бросала на Веру желтоватый свет. Тувия открыл дверь и произнес ее имя, сперва в изумлении из-за ее мокрых одежек, а потом лихорадочным шепотом. Снова и снова его повторяя, когда сжимал ее в своих объятиях.

Дверь закрылась. Рафаэль стоял в пустоте. И без понятия, что дальше. Страшно было остаться одному, страшно было, что сейчас придется сделать нечто ужасное, нечто неизбежное, что-то, что в нем все больше нарастало. Чья-то рука коснулась его бока, и он подпрыгнул от страха. Нина, та, что сводила его с ума и ночью и днем. Ее лицо, белое, красивое, бездушное. Сейчас оно представлялось ему лицом хищной птицы. «Мамуля с папулей гуляют, — сказала Нина с кривой улыбкой. — Значит, и мы можем».

Многие годы спустя Вера рассказывала нам, что она сказала ему, когда вошла в комнату в их брачную ночь: «Прежде чем мы ляжем в постель, я хочу, чтобы ты знал уже сейчас. Я всегда буду тебя почитать и буду тебе самой хорошей и верной подругой. Но лгать я не стану: я женщина, которая в своей жизни способна любить (она произнесла: «любить»); мне нравится эта неправильность, она по-своему точна) только одно-

го мужчину. Не больше. Милоша, который был моим мужем и умер у Тито, я люблю больше всего на свете, больше собственной жизни. Каждую ночь я буду рассказывать тебе о нем и о том, что случилось со мной в концлагере из-за того, что я так его любила. И еще я много плачу». А Тувия сказал: «Хорошо, что ты все откровенно мне рассказываешь, Вера. Значит, нет иллюзий и нет недомолвок. Здесь, в нашей спальне, будут фотографии обоих, твоего мужа и моей жены. Ты будешь рассказывать о нем, а я расскажу тебе о ней, и они будут святыми для нас обоих».

А мы, молодые члены этой семьи (так называемая поросль), что обожали Веру и были с ней все дни шивы<sup>1</sup>, стояли, как это принято, опустив головы из уважения к покойнику, а еще чтобы не расхохотаться, когда встретишься глазами с кем-то из стоящих напротив. Вера смахивала жемчужинки слез кончиком лилового платочка, надушенного лавандой (такое существует, ей-богу. До последних нескольких лет Гиляр, ее приятель-бедуин из соседней деревни, привозил ей лаванду мешками). И тут, к нашему всеобщему изумлению, Вера вдруг ровным и совершенно прозаическим тоном заявила: «Но во время... ну, понимаете... мы с Тувией были окружены портретами тех двоих на стене». Она замолчала с каменным лицом, пока мы, «поросль», не кончили задыхаться от смеха, и тогда в очень верно просчитанную минуту добавила: «Они эту стену прекрасно изучили».

И если уж я влезла в этот пикантный уголок жизни и уже осквернила интимную сторону жизни бабушки с дедушкой, так подкину еще вот каких «дровишек»: не помню точно, когда это было, но как-то

---

<sup>1</sup> Ш и в а — недельный траур в иудаизме.

мы с ней сидели в ее кухоньке метр на метр, и вдруг, ни с того ни с сего Вера мне говорит: «В нашу первую ночь в первый раз, что мы с Тувией, ну, ты понимаешь... Тувия вдруг надевает «головной убор», так это у нас называлось, при том, что он прекрасно знает, сколько мне уже годочков... и тут я увидела, что он и впрямь джентльмен!»

Наутро, когда Рафаэль еще крепко спал, купаясь в любовной неге, в такой сладости, какой не видывал много лет, Нина запихнула свои вещи в рюкзак и молча вышла из комнаты «Лепрозория», в которой оба они провели ночь. Она напрямик пересекла кибуц и, не постучавшись, вошла в квартиру Веры с Тувией в тот час, когда они сидели за первым своим совместным завтраком. Без всякого предисловия она в подробностях описала им то, что делала с Рафаэлем. Вера посмотрела на нее и подумала, что даже в комнатах пыток в Белграде и даже у надзирательниц в лагере в Голи-Отоке ее не ненавидели так сильно, как ненавидит ее собственная дочь. Она положила нож и вилку на стол и сказала: «На всю жизнь, Нина?», и Нина сказала: «И на потом тоже».

Через много лет Вера мне рассказала, что она тогда поднялась, встала перед Тувией и сказала, что, если он сейчас велит ей уходить, она уйдет, покинет кибуц вместе с Ниной и ему больше не придется их видеть. Он подошел, обнял ее за плечи и сказал: «Никуда ты больше не уходишь, Веруля. Ты дома». Нина посмотрела на них и кивнула. Она и по сей день умеет кивнуть с этакой веселой горечью всякий раз, как сбылось ее дурное предчувствие. Она подняла с пола свой рюкзачок с вещичками, обхватила его, но уйти почему-то не смогла. Может быть, что-то в том, как они стояли напротив нее, изменило ее планы. И тогда вспыхнула

быстрая перепалка на сербскохорватском. Нина шипела, что Вера предает Милоша. Вера обеими руками била ее по щекам и кричала, что Милоша она в жизни не предала, что, наоборот, она была верна ему до безумия, ни одна женщина не сделала бы для своего мужчины того, что сделала она. И вдруг воцарилась тишина. Нина, будто почуяв что-то в воздухе, как окаменела. Вера побледнела и замолчала, сжав рот, потом бессильно села.

Нина повесила рюкзак на плечо. Тувия сказал: «Но, Нина, мы хотим тебе помочь... оба хотим. Разрешите нам тебе помочь». А она в слезах топнула ногой: «И не ищите меня, слышите? Только посмейте меня искать! — Она повернулась уходить, но остановилась. — Передай от меня привет своему сыночку, — сказала она Тувии. — Твой сын — самый хороший человек из всех, кого я встретила в жизни». На секунду в ее лице засияло что-то детское. Трогательно-чистое. Иногда, когда мое сердце добреет к ней — а у меня порой случаются подобные минуты, человек ведь не из камня сделан, — мне удается напомнить себе, что и наивность оказалась среди тех вещей, которые у нее украли в столь раннем возрасте. «И скажи ему, что это вовсе не из-за него, — сказала она. — Скажи ему, что женщины будут сильно, без памяти его любить. И что меня он позабудет. Передашь ему, верно?»

И исчезла.

Я снова перебегаю вперед. Пишу ночью и днем. Мы летим послезавтра утром, и до того я с этого стула не встану. Вот еще одно воспоминание, которое, как мне кажется, относится к делу: через много лет после брачной ночи Веры с Тувией (Тувия еще с нами, самый прекрасный дедушка в мире) мы с бабушкой Верой чистим овощи для запеканки у нее в кухне. Время

послеобеденное, лучшие часы в кибуце и в кухне. Низкое солнышко пропускает свои золотистые лучи сквозь банки маринованных огурцов, головок лука и баклажанов, что выставлены на подоконник. На столешнице стоит ведро пеканов, которые мы с Верой утром насобирали. Большой Верин магнитофон проигрывает «Besame Mucho» и всякие другие слезливые радости. У нас с ней — минута единения и великой близости. И вдруг она внезапно говорит: «Когда я выходила за твоего дедушку, за Тувию, после Милоша прошло уже двенадцать лет. Я двенадцать лет провела одна. Ни один мужчина пальцем меня не тронул! Ноготком! И я хотела его, Тувию, а как иначе? Но больше всего мне хотелось быть с Тувией, чтобы позаботиться о твоём папе, о Рафи, для меня это было — как это говорят сионисты? — свершением. Но я и боялась постели как огня. До смерти боялась, что будет, и как я узнаю, все ли как надо, и вернется ли ко мне желание вообще. А Тувия не уступал, он ведь был еще сокол, ему всего было пятьдесят четыре, да если по правде, так он и сегодня хоть куда, притом, что я уже давно готова эту лавочку закрыть». — «Бабушка! — поперхнулась я. Мне было всего пятнадцать. Да что с этими взрослыми в нашей семье? Никакого желания сберечь святую простоту детей? — Зачем ты мне все это рассказываешь?»

«Потому что хочу, чтобы ты знала все! Чтобы между нами не было секретов».

«Каких-таких секретов? Есть секреты?»

И тут она испустила вздох, вырвавшийся из ее душевного подполья, о существовании которого я и не догадывалась. «Гили, я у тебя хочу сложить все, что было со мной в жизни. Все».

«Почему именно у меня?»

«Потому что ты как я».

Я уже знала, что из бабушкиных уст это похвала, но что-то в ее голосе и еще больше в ее взгляде меня будто прошило.

«Не понимаю, бабушка».

Она быстро убрала ножик, которым чистила овощи, положила обе руки мне на плечи. Глаза ее уставились в мои. И сбежать некуда. «И я знаю, Гили, что ты никогда и никому здесь не дашь исказить мою историю, направить ее против меня».

Я вроде бы рассмеялась. Вернее, фыркнула от смеха. Попыталась обернуть разговор в шутку. Я тогда про «ее историю» еще ничего не знала.

И вдруг ее глаза вспыхнули бешенством, диким, почти звериным. И, помнится, на минуту меня пронзила мысль, что не хочу я быть детенышем этой зверины.

Нину они, конечно же, искали. Все на свете перерыли, пытались найти помощь в полиции, что ни к чему не привело, а потом обратились к частному сыщику, который прочесал весь Израиль от севера до юга и сказал им: «Ее как земля проглотила. Начинайте привыкать к тому, что она уже не вернется». Но почти через год от нее стали поступать сигналы. Со странной регулярностью, раз в четыре недели приходила пустая открытка, и на ней — ни единого слова. Из Эйлата, из Тверии, из Мицпе-Рамона, из Кирьят-Шмоны. Вера с Тувией ездили по следам этих открыток, двигались по улицам, заходили в магазины и в гостиницы, в ночные клубы и в синагоги, всем, кто попадался по пути, показывали ее фотографию, сделанную еще когда Нина приехала в Израиль. Вера за эти годы сильно похудела, и волосы стали белыми. Тувия сопровождал ее повсюду, возил ее в полупустом от кибуца пикапе, следил за тем, чтобы она пила и ела. Когда увидел, что она на глазах угасает, полетел с ней в Сербию, в маленькую деревушку, в которой Ми-

лош родился и был погребен. Там, в деревне, Вера была королевой, родственники Милоша любили и почитали ее, вечерами приходили послушать ее рассказы о любви к Милошу. По утрам Тувия чинил моторы старых тракторов и посудомойки, а Вера в широкополой соломенной шляпе усаживалась в кресло-качалку напротив могилы Милоша, возле серого, покрытого патиной памятника, зажигала длинные желтые свечи и рассказывала ему про свои невзгоды из-за Нины, их дочери, про ее поиски и про Тувию, этого ангела, без которого она не смогла бы всего этого вынести...

Рафаэль отправился на собственные поиски. Минимум раз в неделю он убегал из своего учебного заведения и бродил по улицам городов, по кибуцам и по арабским деревням и просто глядел по сторонам. За эти годы он быстро повзрослел и стал еще красивее и еще удрученнее. Девчонки клеились к нему, с ума по нему сходили. Чуть меньше десяти лет назад, на его пятидесятилетии (Вера, конечно же, не допустила, чтобы такая дата прошла без великого сборища, он и в пятьдесят продолжал быть ее любимым сироткой), она достала из одного из своих ящиков сокровище: конверт с его фотографиями тех лет. Фотографиями тусовок, поездок и соревнований по бегу и по баскетболу и празднований окончания учебы. Ничто из этих влажных взглядов, на него устремленных, из этих улыбок, из этих губ, этих юных, жаждущих его прикосновения грудей, из этих стараний — ничто из всего этого его не задело и не взволновало. «Он в своем бульоне видит одну только Нину», — процитировала Вера поговорку, которой мы, разумеется, в жизни не слышали. И когда он пошел в армию, то в каждый свой отпуск продолжал ее искать. Потом на полученные из Югославии деньги (сам маршал Тито, государственный и воен-

ный деятель, распорядился пожизненно выплачивать ей пенсию) Вера купила ему подержанный фотоаппарат «Лейка». Она надеялась, что «Лейка» поможет Рафаэлю справиться со своей трагедией и, может быть, воздаст ему за его тоску, но он начал фотографировать свои поездки с поисками.

Он странствовал по дорогам, описывал Нину всем встречным и поперечным и потом просил разрешения их сфотографировать. Сотни раз рассказывал он чужакам, мужчинам и женщинам, ту капельку информации, что о ней знал. Снова и снова показывал ее фотографию и говорил: «Ее зовут Нина, один раз мы были вместе, и она исчезла. Может, вы ее видели?» Иногда он слушал самого себя, пока говорил, и думал, что он рассказывает им байку, которой никогда и не было.

И тем не менее эти случайные встречи куда-то его вывели. «Глаза раскрылись», — так он говорит в моем юношеском фильме, когда рассказывает о том периоде своей жизни. Он научился смотреть. Привлекали его в основном лица людей с трудной судьбой, людей с массивными, порой поистине царственными фигурами, «людей, по которым видно, как мелкость жизни, завладев ими, их размалывает». Вера с Тувией все пытались убедить его покончить с бродяжничеством, пробудиться, постричься, записаться на учебу, взять на себя какую-то ответственную должность в кибуце. После почти двух лет скитаний он смирился с тем, что Нину ему не найти и что на самом деле он ее упустил, но перестать фотографировать он не смог и, более того, я думаю, а в общем-то знаю (кто, как не я?), что не смог отказаться от поиска: от навыка наблюдать, необходимого для человека, который ищет то, что потерял.

Тридцать два года спустя после их брачной ночи Вера стояла на кухне и кипятила чайник для чаепития. Тувия был уже очень болен. Вера не согласилась на его госпитализацию или на наем сиделки. Четыре года ночью и днем она оживляла его, подбадривала, вывозила на концерты в Хайфу и на спектакли в Тель-Авив, решала с ним кроссворды, меняла ему памперсы и читала вслух все три ежедневные газеты. Среди «поросли» ходило мнение, что из-за войны на истощение, которую ведет Вера, смерть взвешивает, не стоит ли ей от Тувии отказаться.

Чайник закипел, и она просвистела для Тувии в свисток первый куплет их песни: «Играй, играй же на мечтах...»<sup>1</sup> Тувия медленно, кашляя, вошел — кожа да кости. Он пошел по коридору — тому коридору, по которому много лет назад побежал, когда Рафаэль, его сын, укусил Веру (прошу прощения, что я впихиваю это и сюда тоже, но человеку приятно иметь собственную маленькую мифологию). По пути Тувия ухватился за висящую на вешалке куртку, за спинку стула. Присел, вздохнул. Вера взглянула на него, и ее сердце сжалось. «Тувия! — громко крикнула она. — В пижаме? Так, по-твоему, приходят на файв о-клок к леди?» Тувия слабо улыбнулся, вернулся в комнату, натянул черные трикотажные брюки, голубую рубашку в полоску, подчеркивающую голубизну его глаз, и чтобы позабыть Веру, еще и замшевый пиджак, который надевал двадцать пять лет на праздничные мероприятия и который сейчас был велик ему на несколько размеров. «А так годится, май лэди?» — спросил он и, задохнувшись, сел на свой стул. Вера стала наливать ему чай.

---

<sup>1</sup> Первые слова из песни «Я верю» — слова еврейского поэта Шауля (Саула) Черниховского.

Оба молча смотрели на тонкую струйку, льющуюся из чайника. Потом Вера увидела, как закатываются глаза Тувии, как чернеют его губы, и закричала: «Тувия! Не оставляй меня!» И он свалился на пол мертвый.

Кажется, я уже говорила, что мы с папой у Веры, в кибуце — три дня после празднования ее девяностолетия, два дня до полета в Хорватию. Где Вера? Почему ее не слышно? Услышим, еще и как! Вера, как и каждое утро, вышла проведать «своих старичков», которые, кстати, все до единого младше ее на несколько недобрых лет. Она посыплет их своим сварливым порошком оптимизма («Я уже сказала Рафи: если придет день, когда я не смогу стоять на шоссе, на демонстрации *Женщин в черном!*<sup>1</sup>, мне четверти часа не выжить. Четверти часа!»); далее она, поджав губы и энергично размахивая руками, тридцать раз обойдет бассейн в своей плотно сидящей на голове розовой купальной шапочке. И потом помчится на своем электроскутере (лицо уткнулось в лобовое стекло, попа вверх — смертельная опасность для всех, кто осмелится в эти часы прогуливаться по кибуцу) к кладбищу.

Как и каждое утро, она возложит одну розу из своего садика на могилу Дуси, первой жены Тувии, и оттуда пойдет к могиле Тувии и возложит две розы, одну — ему и одну — Милошу, которого она приглашает из его могилы в сербской деревне сюда для реинкарнации.

Она сидит сгорбившись на краю могилы Тувии, раскачивается вперед-назад и рассказывает двум своим мужьям, что нового в семье и в Израиле, и горько жа-

---

<sup>1</sup> «Женщины в черном» — женское антивоенное движение. Первая группа была сформирована из израильских женщин в Иерусалиме в 1988 году, после начала Первой интифады.

луется на мир, который нехорош, «мир хочет уничтожить человечество. Часть уже уничтожил, а сейчас хочет уничтожить тех, кто остался». И горько жалуется на оккупацию: «Ох! Ведь только представить, что это произошло с нами, с евреями! Мы — трагедия трагедии!» И она тихонько плачет, и снимает тяжесть с души, и просит: «Милош и Тувия, дорогие мои мужья, где же вы? Мне уже за девяносто! Когда ж вы придете забрать меня к себе? Не забудьте здесь свою Веру!» А оттуда снова на электроскутере она мчится в свою маленькую клинику, что рядом с амбулаторией, и сидит там три часа, не поднимаясь со стула, и дает советы всем желающим по поводу диеты, и любви, и вен на ногах.

И тут совершенно случайно он, Рафаэль, ее увидел — на улице Яффо в Иерусалиме, возле здания «Дженерали», на автобусной остановке. Он быстро спрятался за рекламный щит, сфотографировал ее — как заходит в автобус, но следом за ней не пошел («побоялся, что устроит мне скандал»). На следующее утро в тот же час она снова была там в цветастом платке на голове, в больших, похожих на бабочку солнечных очках и в короткой облегающей зеленой юбке — умереть не встать (для тех, кто впервые ее видит). Но в глазах Рафаэля — одинокая и погасшая. Нина в то время работала в государственной химической лаборатории возле Русского подворья. По восемь часов в день производила анализ пищевых красителей, проверяя, нет ли в них ядов.

(Когда я пишу эти строки, это звучит для меня так странно. Что у нее общего с этой работой?)

Среди прочих обязанностей в лаборатории она отвечала и за уборку, каждый день оставалась после того, как все работники разойдутся. То ли от скуки,

то ли потому, что не спешила домой, к чужому и нелепому мужику, который ее там ждал, она начала раскрашивать пищевыми красителями тонкие стеклянные пластинки, на которых производились проверки. Рисовала улицу такой, как она выглядит сквозь решетку окна. Рисовала своего отца Милоша и его любимого коня, рисовала разные уголки их маленькой квартирки на улице Космайска в Белграде. Иногда она рисовала Рафаэля. Эти его красивые губы, которые ее целовали, эту мрачную топкую страстность его глаз, это его отчаянное преклонение, которое вселяло в нее ужас.

Каждый день в послеобеденные часы Рафаэль гонялся по улицам и переулкам, ведущим к ее автобусной остановке. Если везло, он открывал для себя еще какой-то маршрут, по которому она шла от работы до автобуса. После нескольких дней этих метаний по улицам он обнаружил ту самую лабораторию и пришел и встал перед ней, когда она мыла пол. Нина вскрикнула от ужаса, и тут же разразилась этим своим залившим смехом, и оперлась руками о стол. Вблизи она показалась ему больной, малокровной, под глазами — черные круги. Говорят, что фантазии об избавлении — дело женское. Но в этих делах ничего нет женского, боль моя: голова повелевала немедленно испариться! Выздороветь от нее! Он подошел, и изо всех сил обнял ее, и услышал свой голос, который спрашивает ее, согласна ли она с ним жить.

Она осмотрела его своим медленным отстраненным взглядом. Прямо вижу, как она на долгие минуты погружает его в некую внутреннюю пустошь. Потом торжественно передает ему в руки резиновый скребок и говорит: «Но сперва тебе придется убить дракона». Он решил, что это какая-то шутка.

Но дракон был.

«Я удрала из кибуца, моталась по Израилю и отрывалась как могла. И в какой-то момент оказалась здесь, в Иерусалиме», — рассказывала Нина фотоаппарату моего папы, пленку которого несколько месяцев назад я нашла в его «архиве» — четыре фруктовых ящика из кибуца, в которых он хранит памятки того периода, когда снимал фильмы. Это эпизод на семь с половиной минут из незаконченного фильма 16-мм. В этом году я сделала оцифровку этой пленки. И может быть, я включу ее в фильм, который о них сделаю, если найду хороший материал во время нашей поездки на остров. Вот высказала это открытым текстом, и небо на землю не свалилось.

В клипе Нина юная и красивая и настроение тоже хорошее, по крайней мере в начале беседы. «...В Иерусалиме я встретила одного мужчину, корейца, ага, из Кореи, представь себе. — Зубки у Нины белые, мелкие, брови потрясно темные, почти прямые, легкая морщинка под глазами добавляет этакую иронию ко всему, что она говорит: — Он устроил меня на эту работу в лаборатории — знал там кого-то и по выходным брал меня работать на него. Он был такой странный человек...»

Вера как-то мне о нем рассказала. Это рассказ, который настолько ни к чему не относится, настолько темный и не схожий со всеми прочими «чужестями», что даже во мне вызывает какую-то боль. Он был биохимиком, имевшим у себя в стране частную лабораторию. «Жуткий человек, — сказала мне Вера, — который заставлял Нину раз в неделю сдавать кровь для его опытов». Но Вера знала не все.

Нина на ролике с наслаждением попыхивает сигареткой, что у нее в руке, и смеется несколько истерическим смехом: «Вообще-то парней я люблю высоких,

красивых, типа Рафи, который сейчас меня снимает, эй, Рафаэль Аморэ. — Она дарит ему поцелуй. — А тот был низенький, уродец и с огромными ушами. Ладно, рассказываю... Он родился в Японии и был из бедной семьи и вдобавок ко всем несчастьям еще и из корейских меньшинств...»

Лицо ее понемногу становится все жестче. Я замечаю в нем мелкие изменения, которые, как видно, очень для меня существенны. С этого момента она начинает говорить быстро, холодным и плоским голосом: «Когда в Японию приехали мормоны, они тут же стали выживать самых бедных детей, и его родители обрадовались, что есть кто-то, кто позаботится об их ребенке, и послали его учиться в Америку. И так вот он стал американским мормоном...»

В Нине будто заговорило что-то совершенно чужое. Даже курить она стала быстро и нервно, почти автоматически. Моя реакция, когда я увидела эту первую сцену: что за чепуха? Кого это интересует? Что она плетет про этого своего корморанта?

«И тут он влюбился в еврейскую девушку, она уже мертва, не суть... и по ее следам приехал в Иерусалим, и так вот встретил меня, когда я искала место, где бы переночевать, и он посылал меня спать с иностранными мужиками, возвращаться и рассказывать, как все было».

Если еще осталась последняя тень доказательства, бросающего тень на мои дочерние качества, так это то, что даже сегодня, в моем возрасте, я готова молиться о смерти, когда она заводит разговор про свою сексуальную жизнь. «Это то, что ему нравилось, и чем все безумней и странней, тем лучше. И всегда он хотел знать подробности, чтобы я обратила внимание на каждую деталь». — «Клево, — мысленно отвечаю ей я, — ты запро-

сто можешь стать помощницей режиссера по сценарию. Может, я унаследовала это от тебя». Я пытаюсь угадать, где, в каком месте снимал он ее для этого ролика. На фоне видны сосны, местность гористая. Роща в горах возле Иерусалима? Над Эйн-Керемом? В Сатафе?

«И что я чувствовала? — Она смеется этим своим смехом, долгим, равнодушным. — Ты, Рафи, не спрашиваешь? Конечно же, не спрашиваешь. Ты ведь всегда побаиваешься моих ответов, правда ведь?»

«Ну и как... Как это тебе?» Даже голос у Рафи сухой и плоский. Его фотоаппарат весь на нее направлен. На ее лицо, на глаза, на ее красивый рот.

«Как выпить воды из бумажного стаканчика и стаканчик выбросить».

Молчание. Нина нетерпеливо передергивает плечами, мол, хватит, кончай.

«И... Сколько же все продолжалось с этим корейцем?»

«Два года».

«Ты два года выбрасывала бумажные стаканчики?»

«Два-три раза в неделю».

«Расскажи».

«А чего там рассказывать! Встаю, выхожу на улицу, ловлю человека, мужчину, иногда женщину, делаю дело, возвращаюсь рассказывать».

Рафи тихо, длинно выдохнул. Когда этот ролик снимался, он еще не знал, что она приготовит ему в будущем.

«В конце концов ты меня нашел, Рафи. Про это вы уже знаете». Нина переводит взгляд на камеру, вдруг лучится всей своей красотой, ранит нам душу. Для нее все — игра. «Артистка жизни». Вдруг подступает тошнота от этого забытого словосочетания, которое в отрочестве вызывало во мне ужас, хотя всего его значения я и не понимала. Эту фразу я в те дни на-

шла в своей секретной библии «Тайны брака» (в совокупности с «Теорией спаривания»; издательство народное). Мне было одиннадцать, когда я обнаружила это в библиотеке Веры и Тувии, и в течение двух-трех лет я совала в них нос каждую минуту, когда оказывалась у них одна. Даже названия глав потрясали меня. «Цель эротики для человека»; «Новейшая информация по сексологии для пар, состоящих в браке». Я лихорадочно это читала, зубрила наизусть. «В качестве прелюдии к выбору партнера женщина использует готовность к любви — физиологическое состояние, при котором организм испытывает такое умственное и физиологическое возбуждение, что жаждет взрыва». Я не поняла. Но мой организм дрожал от нового возбуждения и требовал взрыва. Я читала и перечитывала. Иврит странный, библейский. «Женщина — она более не инструмент для релаксации, а хрупкий сосуд, который несет в себе вино духовности, и для мужчины она как магнитная игла для компаса, что помогает кораблю приплыть в гавань, и будучи сосудом более хрупким, она нуждается в защите усиленной...» Я ходила по улицам Иерусалима или по тропам кибуца и выбирала себе людей красивых, но и некрасивых, мужчин, которые выглядели предводителями, и женщин, которые без сомнения несли в себе вино духовности. Я заглядывала им глубоко в глаза и принуждала их, пусть сами они и не догадывались, продекламировать мне избранные строки из этой библии. «Довольно, чтобы явилось существо противоположного пола, наделенное физическими и духовными качествами, соответствующими условиям определенного человека и его мечтам, и вот вам родилась любовь».

Как я уже писала, я была двенадцатилетней девочкой, может, чуть старше, когда мы представились друг

другу, я и мой гид по брачным джунглям. И я не рассказывала об этом никому, продвигалась от одной точки к другой, расшифровывала слово за словом, иногда с помощью словаря, и научилась выражаться по книге, но лишь под одеялом — любила, например, открыть ее наугад, пальцем ткнуть в строку из текста и чувствовать себя так, будто мне послано предсказание. И помнится, как раз, когда я прочла: «Существуют люди с ложной эффективностью. Люди, которые очень бедны на эмоции, но играют роль эффективных. Те, которых называют «артистами жизни». Эти люди чрезвычайно редко способны на длительные супружеские отношения».

Мне захотелось умереть. Почему именно мне это выпало, что такая женщина...

«Хэлло, Рафи, любовь моя! — восклицает Нина в ролике, иврит у нее превосходный, без тени акцента, так она говорит на пяти или шести языках, она, эта артистка жизни. — Ты искал меня по всему Израилю, пока не нашел и не привел домой, и не избил его до полусмерти, чуть не убил дракона. Знайте, дорогие зрители, Рафи всегда мечтал спасти принцесс от драконов. И с тех пор мы вместе и не вместе, и тем временем у нас родилась бедняжка Гили, и теперь мы запутались еще больше, и Рафи снимает про нас фильм», и она машет Рафаэлю рукой.

Я прокручиваю ролик назад. Она и на самом деле в сотый раз все это произносит.

Камера неподвижно уставлена на нее, будто давая ей шанс извиниться, сказать, что все это вранье. Но Нина уже давно стерла всякую мимику со своего лица. Ее нет. Она отсутствует. Но где же она есть, когда ее нет?

А тем временем родилась бедняжка Гили.

Рафаэль в ролике, как и в жизни, не в силах от нее излечиться. Он спрашивает ее, испытывала ли она за все это время какое-то живое чувство по отношению к кому-то. Она довольно долго не может вернуться к тому месту, которое уже стерто. «Да вот было разок... Я ходила в Старый город, он часто посылал меня там покрутиться. Ему нравилось, когда у меня случалось всякое-разное с арабами. Это его распаяло еще больше. И вдруг слышу сербский, настоящий сербский, с таким выговором, как в деревне у папы, у Милоша. Это были три матроса, которые прибыли на корабле в Хайфу, и один из них такой клевый. Я прошла мимо него и бросила ему так, по-английски, как в фильме: «Привет, котик, come on, lose the others», и привела его домой, и он просто не верил, что такое с ним происходит, что девушка, которая совсем неплохо выглядит и говорит по-сербски с его выговором, приводит его к себе домой, дарит ему гуд тайм, да еще потом провожает его на автобус. С этим парнем я что-то такое почувствовала».

Молчание.

«Да, это неприятно», — говорит она, и лицо как-то вдруг осунулось.

Камера направлена на нее.

«Что со мной не так, Рафи?»

Рафи не отвечает.

На этом ролик кончается.

Я прокручиваю его снова.

Они жили вместе в квартирке в полторы комнаты, на третьем этаже в квартале Кирьят Йовель в Иерусалиме. Нина работала в химической лаборатории, а Рафаэль работал где придется. Он любил ее всяко, когда она его подпускала и когда отвергала. Может, и она любила его — это меня вообще не занимает,

что там она к нему испытывала. Есть такие зоны, которые, когда в них залезешь, тут же тянет наложить на себя руки, и в общем-то зачем мне... Но мимика лица к ней не вернулась. Наоборот. Ее красивое лицо стало еще более бездушным. Он подозревал, что она специально стирает с него всякое выражение каждый раз, как он смотрит на нее своими любящими глазами. «Будто за что-то меня наказывает», — изумленно говорит он в мою камеру «Сони», и интервьюерша, молодая специалистка по таинствам брака в совокупности с теорией спаривания, тактично молчит.

«И раз за разом, — рассказывал Рафаэль, — Нина возвращалась ко мне после своих блужданий «грязная, вонючая, униженная». Он говорил тихо: «Иногда просто исполосованная, в порезах, в черных кровоподтеках и синяках». При виде его взгляда сразу, бывало, вспыхнет и на него накинется, и не раз случалось, что примется его дубасить, а он обороняется, пытается схватить ее за руки, чтобы утихомирить, но она ловчей его и неумейней. И тогда наступал момент, когда его прорывало, и он начинал колотить ее в отместку, рассказывал Рафаэль молодой и напуганной интервьюерше, которая, как ни напрягала воображение, не могла себе подобное представить. «Но ты ведь ее любил? — спросила интервьюерша задушенным голосом. — Как ты мог ее бить, если любил?» — «Не знаю, Гили, не знаю. Все вместе...» И он раздвинул пальцами верхнюю губу и показал смущенной камере полость рта и пустоту на месте двух коренных зубов: «Два этих зуба я потерял в наших войнах». Молчание. Камера уставлена на него, но драма сейчас у операторши. Потому что вдруг, с сегодняшней точки зрения, ей до боли понятно, что девчонка, та, какой она была, когда все это

снимала, сейчас, на наших глазах, расплачивается за свой великий обман: за притворство, что она взрослая.

Кстати, на этой жутко выцветшей и зернистой пленке видно, что и Рафаэль не в своей тарелке. Он без конца ерзает на стуле и ни разу на меня не взглянет. Явно чувствует, что пора бы эту беседу кончать. Что ей не место. Что душевный инструмент той девочки, которой я тогда была, не способен вместить в себя все, что он в нее впихивает. Что это почти преступление. Но ему никак не остановиться. Ему не остановиться.

Когда я снимала его на свою первую пленку, он все же уберег меня от сцен их интима или, во всяком случае, свел их до минимума. Хотя и тут он не усек — и как это он не усек! — что описания их разборок терзали меня гораздо сильнее, мучили меня, как надо.

Оба мы сегодня люди взрослые. Мы сидим в Веринной комнате в кибуце, только он да я, и смотрим — какое отличное слово... — беседу, которую засняли здесь, в этой комнате, двадцать четыре года назад.

И никогда я ничего не делала с этой пленкой.

Мы оба, и Рафаэль, и я, ничего с ней не сделали. Быстренько запихнули ее на антресоли и забыли.

«Я так жалею, — говорит сейчас Рафаэль, а лицо измученное, — что был таким идиотом!» А я говорю: «Ага», — и хочется заплакать по себе, и я не плачу, никогда не плачу, и оба мы молчим.

Что тут скажешь, когда делать нечего.

Вначале, когда у них с Ниной бывали мирные минуты, почти всегда с помощью марихуаны и галлонов коньяка «Экстра Файн», он еще смел надеяться — и, конечно же, ей об этом не говорил, потому что как такое скажешь... — что, если у них родится ребенок, к ней, без сомнения, вернется и мимика лица. Но